

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



АНТОН ЧЕХОВ

Рассказы. Повести. Пьесы



АНТОН ЧЕХОВ

Мороз

«Public Domain»

Чехов А. П.

Мороз / А. П. Чехов — «Public Domain»,

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Мороз

На Крещение в губернском городе N. было устроено с благотворительной целью «народное» гулянье. Выбрали широкую часть реки между рынком и архиерейским двором, огородили ее канатом, елками и флагами и соорудили всё, что нужно для катанья на коньках, на санях и с гор. Праздник предполагался в возможно широких размерах. Выпущенные афиши были громадны и обещали немало удовольствий: каток, оркестр военной музыки, беспроигрышную лотерею, электрическое солнце и проч. Но всё это едва не рушилось благодаря сильному морозу. На Крещение с самого кануна стоял мороз градусов в 28 с ветром; и гулянье хотели отложить, но не сделали этого только потому, что публика, долго и нетерпеливо ожидавшая гулянья, не соглашалась ни на какие отсрочки.

– Помилуйте, на то теперь и зима, чтоб был мороз! – убеждали дамы губернатора, который стоял за то, чтобы гулянье было отложено. – Если кому будет холодно, тот может где-нибудь погреться!

От мороза побелели деревья, лошади, бороды; казалось даже, сам воздух трещал, не вынося холода, но, несмотря на это, тотчас же после водосвятия озябшая полиция была уже на катке, и ровно в час дня начал играть военный оркестр.

В самый разгар гулянья, часу в четвертом, в губернаторском павильоне, построенном на берегу реки, собралось греться местное отборное общество. Тут были старик губернатор с женой, архиерей, председатель суда, директор гимназии и многие другие. Дамы сидели в креслах, а мужчины толпились около широкой стеклянной двери и глядели на каток.

– Ай, батюшки, – изумлялся архиерей, – ногами-то, ногами какие ноты выводят! Ей-же-ей, иной певец голосом того не выведет, что эти головорезы ногами... Ай, убьется!

– Это Смирнов... Это Груздев, – говорил директор, называя по фамилии гимназистов, летавших мимо павильона.

– Ба, жив курилка! – засмеялся губернатор. – Господа, поглядите, наша городская голова идет... Сюда идет. Ну, беда: заговорит он нас теперь!

С другого берега, сторонясь от конькобежцев, шел к павильону маленький, худенький старик в лисьей шубе нараспашку и в большом картузе. Это был городской голова, купец Еремеев, миллионер, N-ский старожил. Растопырив руки и пожимаясь от холода, он подпрыгивал, стучал калошей о калошу и, видимо, спешил убраться от ветра. На полдороге он вдруг согнулся, подкрался сзади к какой-то даме и дернул ее за рукав. Когда та оглянулась, он отскочил и, вероятно, довольный тем, что сумел испугать, разразился громким старческим смехом.

– Живой старикашка! – сказал губернатор. – Удивительно, как это он еще на коньках не катается.

Подходя к павильону, голова засеменил мелкой рысцой, замахал руками и, разбежавшись, подполз по льду на своих громадных калошах к самой двери.

– Егор Иваныч, коньки вам надо купить! – встретил его губернатор.

– Я и сам-то думаю! – ответил он крикливым, немного гнусавым тенорком, снимая шапку. – Здравия желаю, ваше превосходительство! Ваше преосвященство, владыко святой! Всем прочим господам – многая лета! Вот так мороз! Ну, да и мороз же, бог с ним! Смерть!

Мигая красными, озябшими глазами, Егор Иваныч застучал по полу калошами и захлопал руками, как озябший извозчик.

– Такой проклятуший мороз, что хуже собаки всякой! – продолжал он говорить, улыбаясь во всё лицо. – Сущя казнь!

– Это здорово, – сказал губернатор. – Мороз укрепляет человека, бодрит.

– Хоть и здорово, но лучше б его вовсе не было, – сказал голова, утирая красным платком свою клиновидную бородку. – Бог с ним! Я так понимаю, ваше превосходительство, господь в наказание нам его посылает, мороз-то. Летом грешим, а зимою казнимся... да!

Егор Иваныч быстро огляделся и всплеснул руками.

– А где же это самое... чем греться-то? – спросил он, испуганно глядя то на губернатора, то на архиерея. – Ваше превосходительство! Владыко святой! Чай, и мадамы озябли! Надо что-нибудь! Так невозможно!

Все замахали руками, стали говорить, что они приехали на каток не за тем, чтобы греться, но голова, никого не слушая, отворил дверь и закивал кому-то согнутым в крючок пальцем. К нему подбежали артельщик и пожарный.

– Вот что, бегите к Саватину, – забормотал он, – и скажите, чтоб как можно скорей прислал сюда того... Как его? Чего бы такое? Стало быть, скажи, чтоб десять стаканов прислал... десять стаканов глентвейнцу... самого горячего, или пуншу, что ли...

В павильоне засмеялись.

– Нашел, чем угощать!

– Ничего, выпьем... – бормотал голова. – Стало быть, десять стаканов... Ну, еще бенедиктинцу, что ли... красенького вели согреть бутылки две... Ну, а мадамам чего? Ну, скажешь там, чтоб пряников, орешков... конфетов каких там, что ли... Ну, ступай! Живо!

Голова минуту помолчал, а потом опять стал бранить мороз, хлопая руками и стуча калошами.

– Нет, Егор Иваныч, – убеждал его губернатор, – не грешите, русский мороз имеет свои прелести. Я недавно читал, что многие хорошие качества русского народа обуславливаются громадным пространством земли и климатом, жестокой борьбой за существование... Это совершенно справедливо!

– Может, и справедливо, ваше превосходительство, но лучше б его вовсе не было. Оно, конечно, мороз и французов выгнал, и всякие кушанья заморозить можно, и деточки на коньках катаются... всё это верно! Сытому и одетому мороз – одно удовольствие, а для человека рабочего, нищего, странника, блаженного – он первейшее зло и напасть. Горе, горе, владыко святой! При таком морозе и бедность вдвое, и вор хитрее, и злодей лютее. Что и говорить! Мне теперь седьмой десяток пошел, у меня теперь вот шуба есть, а дома печка, всякие ромы и пунши. Теперь мне мороз нипочем, я без всякого внимания, знать его не хочу. Но прежде-то что было, мать пречистая! Вспомнить страшно! Память у меня с летами отшибло, и я всё позабыл; и врагов, и грехи свои, и напасти всякие – всё позабыл, но мороз – ух как помню! Остался я после маменьки вот таким махоньким бесенком, бесприютным сиротой... Ни родных, ни ближних, одежка рваная, кушать хочется, ночевать негде, одним словом, не имамы zde пребывающего града, но грядущего взыскуем. Довелось мне тогда за пятак в день водить по городу одну старушку слепую... Морозы были жестокие, злющие. Выйдешь, бывало, со старушкой и начинаешь мучиться. Создатель мой! Спервоначалу задаешь дрожак, как в лихорадке, жмешься и прыгаешь, потом начинают у тебя уши, пальцы и ноги болеть. Болят, словно кто их клещами жмет. Но это всё бы ничего, пустое дело, не суть важное. Беда, когда всё тело стынет. Часика три походишь по морозу, владыко святой, и потеряешь всякое подобие. Ноги сводит, грудь давит, живот втягивает, главное, в сердце такая боль, что хуже и быть не может. Болит сердце, нет мочи терпеть, а во всем теле тоска, словно ты ведешь за руку не старуху, а саму смерть. Весь онемеешь, одеревенеешь, как статуя, идешь, и кажется тебе, что не ты это идешь, а кто-то другой вместо тебя ногами двигает. Как застыла душа, то уж себя не помнишь: норовишь или старуху без водителя оставить, или горячий калач с лотка стащить, или подраться с кем. А придешь с мороза на ночлег в тепло, тоже мало радости! Почитай, до полночи не спишь и плачешь, а отчего плачешь, и сам не знаешь...

– Пока еще не стемнело, нужно по катку пройтись, – сказала губернаторша, которой скучно стало слушать. – Кто со мной?

Губернаторша вышла, и за нею повалила из павильона вся публика. Остались только губернатор, архиерей и голова.

– Царица небесная! А что было, когда меня в сидельцы в рыбную лавку отдали! – продолжал Егор Иваныч, поднимая вверх руки, причем лисья шуба его распахнулась. – Бывало, выходишь в лавку чуть свет... к девятому часу я уж совсем озябши, рожа посинела, пальцы растопырены, так что пуговицы не застегнешь и денег не сосчитаешь. Стоишь на холоде, костенеешь и думаешь: «Господи, ведь до самого вечера так стоять придется!» К обеду уж у меня живот втянуло и сердце болит... да-с! Когда потом сам хозяином был, не легче жилось. Морозы до чрезвычайности, а лавка, словно мышеловка, со всех сторон ее продувает; шубенка на мне, извините, паршивая, на рыбьем меху, сквозная... Застынешь весь, обалдеешь и сам станешь жесточее мороза: одного за ухо дернешь, так что чуть ухо не оторвешь, другого по затылкухватишь, на покупателя злодеем таким глядишь, зверем, и норовишь с него кожу содрать, а домой ввечеру придешь, надо бы спать ложиться, но ты не в духах и начинаешь свое семейство куском хлеба попрекать, шуметь и так разойдешься, что пяти городских мало. От морозу и зол становишься и водку пьешь не в меру. Егор Иваныч всплеснул руками и продолжал:

– А что было, когда мы зимой в Москву рыбу возили! Мать пречистая!

И он, захлебываясь, стал описывать ужасы, которые переживал со своими приказчиками, когда возил в Москву рыбу...

– Н-да, – вздохнул губернатор, – удивительно вынослив человек! Вы, Егор Иваныч, рыбу в Москву возили, а я в свое время на войну ходил. Припоминается мне один необыкновенный случай...

И губернатор рассказал, как во время последней русско-турецкой войны, в одну морозную ночь отряд, в котором он находился, стоял неподвижно тринадцать часов в снегу под пронзительным ветром; из страха быть замеченным, отряд не разводил огня, молчал, не двигался; запрещено было курить...

Начались воспоминания. Губернатор и голова оживились, повеселели и, перебивая друг друга, стали припоминать пережитое. И архиерей рассказал, как он, служа в Сибири, ездил на собаках, как он однажды сонный, во время сильного мороза, вывалился из возка и едва не замерз; когда тунгузы вернулись и нашли его, то он был едва жив. Потом, словно сговорившись, старики вдруг умолкли, сели рядышком и задумались.

– Эх! – прошептал голова. – Кажется, пора бы забыть, но как взглянешь на водовозов, на школьников, на арестантиков в халатишках, всё припомнишь! Да взять хоть этих музыкантов, что играют сейчас.

Небось уж и сердце болит у них, и животы втянуло, и трубы к губам примерзли... И играют и думают: «Мать пречистая, а ведь нам еще три часа тут на холоде сидеть!»

Старики задумались. Думали они о том, что в человеке выше происхождения, выше сана, богатства и знаний, что последнего нищего приближает к богу: о немощи человека, о его боли, о терпении...

Между тем воздух синел... Отворилась дверь, и в павильон вошли два лакея от Саватина, внося подносы и большой окутанный чайник. Когда стаканы наполнились и в воздухе сильно запахло корицей и гвоздикой, опять отворилась дверь и в павильон вошел молодой, безусый околоточный с багровым носом и весь покрытый инеем. Он подошел к губернатору и, делая под козырек, сказал:

– Ее превосходительство приказали доложить, что они уехали домой.

Глядя, как околоточный делал озябшими, растопыренными пальцами под козырек, глядя на его нос, мутные глаза и башлык, покрытый около рта белым инеем, все почему-то почув-

ствовали, что у этого околоточного должно болеть сердце, что у него втянут живот и онемела душа...

– Послушайте, – сказал нерешительно губернатор, – выпейте глинтвейну!

– Ничего, ничего... выпей! – замахал голова. – Не стесняйся!

Околоточный взял в обе руки стакан, отошел в сторону и, стараясь не издавать звуков, стал чинно отхлебывать из стакана. Он пил и конфузился, а старики молча глядели на него, и всем казалось, что у молодого околоточного от сердца отходит боль, мякнет душа. Губернатор вздохнул.

– Пора по домам! – сказал он, поднимаясь. – Прощайте! Послушайте, – обратился он к околоточному, – скажите там музыкантам, чтобы они... перестали играть, и попросите от моего имени Павла Семеновича, чтобы он распорядился дать им... пива или водки.

Губернатор и архиерей простились с «городской головой» и вышли из павильона.

Егор Иваныч принялся за глинтвейн и, пока околоточный допивал свой стакан, успел рассказать ему очень много интересного. Молчать он не умел.